



Ф.Н. Плевако

Судебные речи



Федор Плевако (1842–1908) — выдающийся российский адвокат и талантливый оратор, прозванный за свое красноречие «московским златоустом».

«Судебные речи», представленные в данном сборнике, познакомят читателя с восемью наиболее замечательными образцами адвокатского мастерства Федора Плевако. Тут собраны жемчужины его ораторского искусства, демонстрирующие умение судебного защитника оказывать тонкое и глубокое психологическое воздействие на людей.

Плевако был неизменным участником крупнейших политических и уголовных процессов конца 19 — начала 20 века. Залы суда были битком набиты публикой, стекавшейся туда, чтобы послушать выступления знаменитого адвоката. Он грамотно излагал факты, любил играть на контрастах, виртуозно импровизировал, покоря сердца простых слушателей, а также судей и присяжных заседателей, от которых целиком зависела судьба его подзащитных.

Федор Никифорович Плевако

Судебные речи

Биографическая справка

Плевако Федор Никифорович (1842–1908 гг.) — крупнейший дореволюционный русский адвокат, имя которого хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Юридическое образование Ф. Н. Плевако получил в Московском университете. Вскоре после введения Судебных уставов 1864 года вступил в адвокатуру и состоял присяжным поверенным при Московской судебной палате. Постепенно, от процесса к процессу, он своими умными, проникновенными речами завоевал широкое признание и славу выдающегося судебного оратора. Всегда тщательно готовился к делу, хорошо знал все его обстоятельства, умел глубоко анализировать доказательства и показать суду внутренний смысл тех или иных явлений. Речи его отличались большой психологической глубиной, доходчивостью и простотой. Самые сложные человеческие отношения, неразрешимые подчас житейские ситуации освещал он в доступной, понятной для слушателей форме, с особой внутренней теплотой. По выражению А. Ф. Кони,

это был «...человек, у которого ораторское искусство переходило в вдохновение»¹.

В судебных речах он не ограничивался освещением только юридической стороны рассматриваемого дела. В ряде судебных выступлений Ф. Н. Плевако затрагивал большие социальные вопросы, которые находились в поле зрения и волновали передовую общественность.

Нельзя забыть его гневные слова в адрес игуменьи Митрофании:

«Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела!

Вместо храма — биржа; вместо молящегося люда — аферисты и скупщики поддельных документов; вместе молитвы — упражнение в составлении вексельных текстов; вместо подвигов добра — приготовление к ложным показаниям, — вот что скрывалось за стенами.

Стены монастырские в наших древних

¹ Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 1⁴, оп. 1, Ег ар 216, стр. 2.

обитателях скрывают от монаха мирские соблазны, а у игуменьи Митрофании — не то...

Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под «покровом рясы и обители!..»

Острые социальные вопросы затрагивает Ф. Н. Плевако и в других речах. Так, выступая в защиту люторических крестьян, восставших против нечеловеческой эксплуатации и безмерных поборов, он говорит;

«Мы, когда с нас взыскивают недолжное, волнуемся, теряем самообладание; волнуемся, теряя или малую долю наших достатков, или что-либо наживное, поправимое.

Но у мужика редок рубль и дорого ему достается. С отнятым кровным рублем у него уходят нередко счастье и будущность семьи, начинается вечное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами. Раз разбитое хозяйство умирает — и батрак осужден на всю жизнь искать, как благодеяния, работы у сильных и лобзать руку, дающую ему грош за труд, доставляющий другому выгоды на сотни рублей, лобзать, как руку благодетеля, и плакать, и просить нового благодеяния, нового кабального труда за крохи хлеба и жалкие лохмотья».

Плевако никогда не рассчитывал только на свой талант, В основе его успеха лежало большое

трудолюбие, настойчивая работа над словом и мыслью.

Ф. Н. Плевако — наиболее колоритная фигура среди крупнейших дореволюционных адвокатов, он резко выделялся своей яркой индивидуальностью среди не бедной талантливими ораторами дореволюционной адвокатуры.

А. Ф. Кони так характеризовал талант Плевако: «...сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшая взмах его крыльев, со всей присущей им силой»².

Содержание речи, ее тон и направление Плевако, как никто из дореволюционных судебных ораторов, увязывает с настроением слушателей, к которым она обращена. Он большой мастер понимать и проникать в настроение судебной аудитории, умело затрагивая нужные струны.

Говоря о Плевако, В. В. Вересаев в одном из своих воспоминаний передает следующий рассказ о нем:

«Главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности

² А. Ф. Кони, Отцы и дети судебной реформы, издание т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 260.

чувства, которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы.

Судили священника, совершившего тяжкое преступление, в котором он полностью изобличался, не отрицал вины и подсудимый.

После громовой речи прокурора выступил Плевако. Он медленно поднялся, бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз...

«Господа, присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который ТРИДЦАТЬ ЛЕТ отпущал на исповеди все ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?» И сел. Рассказывая о другом случае, Вересаев пишет:

«Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник, стоимостью дешевле 50 копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в

защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет.

Поднялся Плевако.

— Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Дванадцать языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник, стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно»³.

Но не только присяжные поддавались обаянию большого таланта Плевако, и коронные судьи нередко оказывались в плену его большого, сильного и тонкого психологического воздействия.

Сравнения и образы Плевако очень сильны, убедительны, глубоко запоминающиеся. Образные сравнения еще более увеличивают впечатление его эффектных речей.

³ В. В. Вересаев, Соч., т. IV, М., 1948, стр. 446–447.

Речь Плевако в защиту Бартенева по делу об убийстве артистки Висновской — блестящий образец русского судебного красноречия. Она отличается исключительно психологической глубиной, тонким анализом душевного состояния убитой и подсудимого. Указанная речь безупречна по своему стилю, отличается высокой художественностью. Анализ психологического состояния молодой, преуспевающей артистки и подсудимого дан исключительно глубоко и талантливо..

Почти не разбирая вопросов состава преступления, да обстоятельства дела этого и не требовали, Плевако кистью большого художника образно рисует обстановку, в которой созревало преступление.

В этой речи глубоко и правдиво рисуется внутренний и внешний мир молодой, красивой, талантливой актрисы Висновской, успешно выступавшей на сцене Варшавского императорского театра. Умело затрагивая и показывая внутренние пружины душевного разлада молодой, пользующейся большим успехом женщины, Плевако правдиво рисует обстановку преступления.

Эта речь по праву приобрела известность далеко за пределами России.

Из представленных в сборнике речей читатель

может вынести достаточное впечатление о творчестве этого талантливом адвоката и выдающегося судебного оратора.

После смерти Плевако опубликовано около 60 его речей, составляющих два тома.

Дело Бартенева

А. М. Бартенева предан суду по обвинению в умышленном убийстве артистки Марии Висновской. По обвинительному акту дело состоялось в следующем.

В феврале 1890 года кто-то из знакомых Бартенева представил его Висновской в кассе Варшавского драматического театра. Миловидная наружность известной на всех сценах артистки произвела на Бартенева сильное впечатление. Через некоторое время он сделал Висновской визит, но, чувствуя некоторую робость в ее присутствии, бывал у своей новой знакомой редко и ограничивался лишь посылкой букетов и изредка утренними посещениями. Позднее Бартенева стал бывать у Висновской чаще и, наконец, сделал ей формальное предложение вступить с ним в брак. Это предложение зависело от согласия на этот брак родителей Бартенева, с которыми он во время отпуска должен был переговорить.

Съездив в деревню, Бартенева с родителями,

однако, не говорил об этом, ибо наперед знал, что получит отказ. Висновской же он сказал, что с родителями говорил, но их согласия не добился.

Бартенев все чаще стал посещать Висновскую, ежедневно посылал ей на дом и на сцену мелкие подарки и букеты, и таким образом поддерживались между ним и Висновской хорошие отношения. Эти отношения простого знакомства круто переменялись 26 марта 1890 г. Вечером этого дня, после ужина в квартире Висновской, последняя отдалась впервые Бартеневу. Счастье Бартенева, однако, не было полным. Большой сценический успех, красивая наружность и сильно развитое кокетство Висновской привлекало к ней мужчин, и их посещения вызывали в Бартеневе чувство ревности. Под влиянием этого чувства и горя, что он не может жениться на Висновской, Бартенев часто говорил ей о своем намерении лишить себя жизни; Висновская же, охотно говорившая о кончине и окружавшая себя эмблемами смерти, поддерживала этот разговор и показывала банку, в которой, по ее словам, был яд и маленький с белой ручкой револьвер. Во время одного из таких разговоров Висновская спросила Бартенева: хватило ли бы у него мужества убить ее и затем лишить себя жизни? В другой раз она взяла с него обещание, что он известит ее об окончательном решении покончить с собой и даст ей возможность

увидеть его и проститься с ним. Мрачные мысли, однако, быстро сменялись шумными пирушками в загородных ресторанах и любовными свиданиями. Рядом с ними шли, однако, взаимные неудовольствия и легкие размолвки. Как-то в мае Висновская заявила Бартеневу, что его ночные посещения компрометируют ее, и просила его, если он желает встречаться с ней наедине, приискать квартиру в глухой части города. 16 июня 1890 г. комната, нанятая Бартеневым в доме № 14 по Новгородской улице, была отделана, и в тот же день Бартенев предложил Висновской взять ключ от этой квартиры. «Теперь поздно», — ответила она и, не объясняя значения слова «поздно», утром следующего дня, то есть 17 июня, уехала на целый день на дачу к матери. Мучимый ревностью и объясняя отъезд Висновской и слово «поздно» желанием прервать с ним отношения, Бартенев написал Висновской полное упреков письмо, которое оканчивалось заявлением, что он лишит себя жизни. Одновременно с письмом он отослал ей все полученные от нее письма, перчатки, шляпу и другие мелкие вещи, взятые им на память. Отослав письма и вещи, Бартенев поехал к своим знакомым Михаловским и вернулся около полуночи домой. Полчаса спустя горничная Висновской передала ему записку своей барычи, прибавив, что Висновская ждет его в карете. Несколько минут

спустя Бартенев и Висновская уехали в город. На пути и в квартире на Новгородской улице происходили объяснения, кончившиеся тем, что Висновская назначила Бартеневу свидание в той же квартире на другой день в шесть часов. Это свидание, как говорила Висновская, должно было быть последним, потому что уже окончательно был решен ее отъезд через несколько дней за границу, сначала в Галицию, а затем в Англию и Америку.

На другой день в седьмом часу ожидавший Висновскую Бартенев открыл ей двери помещения на Новгородской улице. Войдя в комнату, Висновская положила на диван два свертка, раздевшись, вынула из одного из них пенюар, а из другого — большой заряженный принадлежавший Бартеневу и хранившийся у Висновской револьвер. На вопрос Бартенева, зачем она принесла револьвер, Висновская ответила, что он ей больше не нужен и что она возвращает его владельцу. В начале свидания оба находились под впечатлением размолвок последних дней; потом разговор стал нежнее, Бартенев говорил о любви, о том, что он не переживет ее отъезда, и вскоре прежние отношения возобновились. Приблизительно в десять часов вечера Висновской захотелось есть. Поужинав, Висновская легла на диван. Часа два спустя Висновская спросила Бартенева, который час. Оказалось, что полночь миновала, «Пора мне

домой», — сказала Висновская и собиралась одеваться, но, по просьбе Бартенева, легла опять и задумалась. «Какая тишина, — сказала она через некоторое время, — мы точно в могиле». Потом, помолчав, прибавила: «Пора мне ехать, но как-то не хочется уходить, я чувствую, что не выйду отсюда». Бартнев на это ничего не ответил, и разговор прекратился. «Разве ты меня любишь? — возобновила Висновская разговор, — если бы ты меня любил, то не грозил бы мне своей смертью, а убил бы меня». Бартнев возражал, что он себя может лишить жизни, но убить ее у него не хватит сил. Вслед за этим он прикладывал револьвер с взведенным курком к себе. «Нет, это будет жестоко, убить себя на моих глазах, что же я тогда буду делать», — сказала Висновская и, вынув из кармана своего платья две банки — одну с опиумом, а другую с добытым Бартневым, по ее просьбе, хлороформом, предложила принять вместе яду, и затем, когда она будет в забытье, убить ее из револьвера и покончить затем с собой. Бартнев согласился. После этого они оба начали писать записки. Висновская писала долго, рвала записки и опять начинала писать. Окончив свои записки раньше Висновской, Бартнев начал ее торопить. После этого Висновская приняла опиум вместе с портером; Бартнев тоже выпил немножко отравленного портера. Затем Висновская легла на

диван и, помочив два носовых платка хлороформом, положила их себе на лицо. Через некоторое время Бартенев присел на край дивана, обнял левой рукой находившуюся в забытьи Висновскую и, приложив бывший у него в правой руке револьвер к обнаженной груди ее, спустил курок. Когда это случилось, Бартенев с точностью определить не мог; он допускает, однако, что выстрел последовал в три или после трех часов утра. Совершив убийство, Бартенев около пяти часов утра запер квартиру и, забрав с собой револьвер, уехал домой.

Объяснение обвиняемого о лишении им жизни Висновской по ее просьбе и согласно желанию убитой, говорит обвинительный акт, опровергается вполне как показаниями родственников и друзей потерпевшей, так и содержанием восстановленных из найденных на месте преступления разорванных на мелкие куски записок покойной. Текст записок гласит следующее: 1) «Человек этот угрожал мне своей смертью — я пришла. Живой не даст мне уйти» 2) «Итак последний мой час настал: человек этот не выпустит меня живой. Боже, не оставь меня! Последняя моя мысль — мать и искусство. Смерть эта не по моей воле». 3) «Ловушка? Мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием!!! Боюсь... Дрожу! Последняя мысль моя матери и

искусству. Боже, спаси меня, помоги... Вовлеки меня... это была ловушка. Висновская». По поводу содержания последних трех записок Бартенев ничего не смог ответить.

Он подробно описал все обстоятельства их пребывания в одной комнате перед убийством. «Я так был убежден, что отец никогда бы мне не разрешил жениться на Висновской, а поэтому и написал в записке фразу: «Вы не хотели моего счастья». Висновская долго писала записки, писала с расстановками, не спеша обдумывая. Напишет что-то и остановится, думая, глядя на дверь; опять напишет два-три слова и снова размышляет. Написав записки, она рвала их, бросала, куда попало, и снова принималась писать; опять рвала и снова продолжала писать. Я кончил писать гораздо раньше. Комната освещалась одной свечкой, когда мы начали писать, я хотел зажечь другую свечу, но она сказала: «Не нужно!». Сколько было написано ею записок, не знаю; помню только, что осталось их две; я спросил ее, что она написала; она ответила: одну матери, а другую в дирекцию театров; о разорванных записках я ее не спрашивал. Она захотела прочесть мои записки и разорвала ту, которую я написал в резкой форме Палицыну, сказав, что если ее оставить, то Палицын ничего не сделает для матери, как она его о том просит в своей записке. Затем опять начался разговор о

нашей любви, г безысходности положения, о том, что нам остается умереть, и тут я прибавил, что «уж если так, то надо это сделать поскорее!». Она решила сначала принять опиум, чтобы привести себя в бессознательное состояние, а я должен был сначала ее застрелить, а потом уж себя. Она насыпала в стакан с портером опия, и стала пить глотками эту смесь. Остаток, долив портером, выпил я. Она легла на диван и просила положить ей на колени две записки, ею написанные. Я это исполнил. Затем она намочила свой и мой платки хлороформом и наложила их себе на лицо. Помню, что она попросила дать ей еще опия; я подал, но она не приняла, так как у нее появилась рвота. Она просила убить ее во имя нашей любви, настойчиво повторяя: «Если ты меня любишь, убей», Я сидел возле нее с револьвером в правой руке и взведенным еще раньше курком. Я, кажется, обнял ее за шею левой рукой, а она все время лепетала, чтобы я ее убил, если люблю. Помнится, что я прильнул к ее губам; она по-французски сказала: «Прощай, я тебя люблю»; я прижался к ней и держал револьвер так, что палец у меня находился на спуске; я чувствовал подергивания во всем теле; палец как-то сам собой нажал спуск и последовал выстрел. Я не желаю этим сказать, что выстрелил случайно, неумышленно; напротив того, я все это делал именно для того, чтобы выстрелить, но

только я хочу объяснить, что то мгновение, когда произошел выстрел, опередило несколько мое желание спустить курок. Голова у меня была, как в тумане. После выстрела мной овладел ужас, и в первый момент у меня не только не появилось мысли застрелить тут же себя, но у меня никаких мыслей не было или, вернее, они все перепутались в моей голове, и я не знал, что делать. Мне помнится слабо, что я схватил сифон с сельтерской водой и стал ее лить на голову Висновской; для чего я это делал, не знаю; я не давал себе отчета в бесполезности этой меры. Который был час в это время, не знаю: может быть, три часа, может быть, больше. Долго ли я оставался после выстрела и что я делал, не могу дать себе отчета. На меня нашло какое-то оцепенение, я машинально надел шинель и фуражку и поехал в полк. Не помню, запер ли я дверь или нет. Содержание трех разорванных записок меня удивляет; я не думал принуждать ее к смерти, я только говорил, что не могу жить без нее. Если бы сна хотела, она легко могла бы меня успокоить, так как вообще она могла делать со мной все, что ей было угодно. Стоило ей только сказать мне слово, что ничего этого не нужно, что она хочет еще жить, я был бы далек от мысли об убийстве я бы и сам, пожалуй, воздержался от мысли о самоубийстве. Но Висновская даже не намекнула на желание пользоваться жизнью, и,

напротив того, своими разговорами поддерживала наше общее желание расстаться с жизнью во имя нашей любви». На вопрос о том, почему же Бартенев не убил себя, он ответил, что его душевное состояние было таково, что он об этом совсем не думал. По делу допрошено 67 свидетелей. Показания одних из них подтверждали намерение Бартенева лишить Висновскую жизни. Другие же указывали на такой характер их отношений, какой явствовал из показаний Бартенева. Бартенев был предан суду по обвинению в умышленном убийстве. Рассматривал дело Варшавский окружной суд без участия присяжных заседателей 7-10.2 1891 г.

* * *

Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух борьбы, для непримиримого спора. Подсудимый, сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких уклонений свое слово и здесь, на суде. Это упрощает задачу защиты, суживает объем ее, ограничивая ее доводы теми, которые по данным делам могут влиять лишь на меру и степень заслуженной подсудимым кары.

Формулируя с достаточной точностью признаки, по которым судья распознает между

безнравственными поступками такие, которые влекут за собой уголовную кару, указывая на роды и виды наказаний, сопровождающих то или другое преступление, закон не исчерпал всех случаев, которые влияют на понижение назначенного наказания, но предоставил судьям значительную долю усмотрения при смягчении его. Все, что в жизни подсудимого, в его характере, в его прирожденных достоинствах и недостатках, наконец, в обстановке совершенного им преступления возбуждает сожаление, снисходительное сострадание в честном человеческом сердце, все это имеет право принять во внимание и судья, отправляющий правосудие. Отсюда следует, что изучение условий, которые влияют на меру наказания, ожидаемого подсудимым, должно совпасть с воспроизведением тех фактических подробностей дела, в которых заключаются яркие признаки наличности данных, уполномочивающих меня говорить о пощаде и снисхождении к моему клиенту. Остановившись на них, я воспользуюсь планом обвинителя: сначала изучу прошлое подсудимого и его жертвы до их первой встречи и затем уже, проследив печальную драму, начавшуюся их знакомством, подойду к ужасной минуте преступления. Вся разница будет заключаться в том, что я введу в дело факты, пройденные молчанием со стороны обвинителя, а

эти факты дадут место иным выводам, более мягким, чем те, к которым пришел он; но метод, обнаруживающий в своем применении присутствие человечности и сострадания, надеюсь, имеет право конкурировать с тем, которому он противопоставляется. Итак, к делу. Обвинитель познакомил вас с личностью Марии Висновской. Он не отрицает, даже подчеркивает темные пятна в ее жизни и поступках, ставя, впрочем, их рядом с высотой ее умственных сил, выразившейся в думах и мыслях, занесенных ею в свой дневник. С своей стороны, присматриваясь к личности покойной, я не вижу необходимости ни идеализировать ее внутренних сил, ни унижать ее житейские поступки. Судя по тому, чего она достигла на сцене, мы знаем, что она не была обижена судьбой: завидной красоте гармонировал талант, эта искра божия и душе, не затушенная, а развитая трудолюбием и любовью к образованию в молодой девушке. Но было бы ошибкой о высоте умозрений заключать по выпискам из ее дневника. Те мысли, которые приписал ей обвинитель, были цитатами, занесенными ею для памяти, из умных книг, попадавших ей под руку. Трудно себе представить, чтобы полные отчаяния пессимистические изречения скептика античного мира о блаженстве неродившихся и о счастье рано умерших были «законченными принципами» ее в то время почти

еще детской головки, а не просто поразившими ее слух «страшными, но красиво сказанными словами» умного человека. Все в свое время... Для отвращения от жизни еще не настало срока, а жизнь с ее обстановкой пока работала над формировкой иных характерных черт в личности покойной. Время, когда Висновская записывала указанные цитаты, застает ее уже на сцене одного из театров. Молодой талант уже замечен, выделен из толпы лицедеев из-за куска хлеба. Талант, воплощенный в оболстительные формы молодой красоты, замечен трижды — артистка делается любимицей. Тут-то бы, кажется, быть довольной, как никогда, своим положением, тут-то бы, кажется, не вспомнить ни одного из тех пессимистических изречений, которые ей пришли на ум, а она в них находит, точно несчастный в грустных музыкальных мелодиях, отголосок своему душевному настроению. Разгадка этого — в фактах, занесенных ею в свои книжки. Очаровавшая ее своей эстетической карьерой сцена разочаровывает ее реализмом будничной жизни артиста. В окружающей ее театральной публике она встретила то, что приходится наблюдать везде и всюду: большинство поклонников, не умеющих уважать женщин в артистке и отделять интересы ее, как художника, от интересов женского и общечеловеческого достоинства. Любуясь ею, как

артисткой, хотели быть близкими к ней, как к женщине. Служа эстетическому запросу публики на сцене, она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра. Любитель, располагавший, благодаря средствам возможностью всегда занимать лучшее место в театре, требовал той же доступности от артистки и вне театра, когда артистка оставалась только женщиной. И не всегда хватало у ней средств на борьбу с этими условиями артистической жизни. Вы помните те страницы ее дневника, где она жалуется на неотвязчивые искательства одних, на дерзкую самоуверенность других, на оскорблявшее девическое достоинство преследование третьих... Молодое сердце хочет любить, верить в то, что и ей на долю будет дана отрадная встреча, под впечатлением этого она подчас с доверием выслушивала ласковое слово, полуробкое признание, а через несколько дней уже клянет человека, оказавшегося, как и все, искателем либо сильных ощущений, либо быстрых и решительных побед в мире будуаров и таинственных парков... Так живет она, то удовлетворенная артистическим успехом, то оскорбляемая грубостью поклонников, то обольщенная любовью, то разочарованная пошлостью, прикрытой любовными речами. Все это отзывается в ее записках, все это мало-помалу, не формируя из нее глубоко убежденной пессимистки,

однако, обращает ее воззрение к смерти и небытию. Она любит говорить о них, любит этого рода образы, и раз — это было по какой-то странной мистической случайности, — записала в свою книгу и картину своей будущей смерти. Она хотела бы, записала она десять лет тому назад, умереть в комнате, обтянутой розовой материей, таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки... Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия немного пародировали обстановку, где Висновская покончила счеты с жизнью, пародировали ее, начиная с более темных колеров материи... но об этом после. Книга книгой, а жизнь жизнью. Висновская продолжает играть на сцене, продолжает завоевывать положение, отвлекающее ее помыслы от смерти. Прочно завоеванная репутация талантливой артистки в ее руках. Ею занята пресса, она желанная работница на лучшей сцене. Однако социальное положение не удовлетворяет всех целей жизни. У нее остается внутренний мир женского сердца, а ему нанесены в прошлом тяжелые раны, которых не исцелило время и не утолили успехи. Висновская никогда не уходила в сцену всем существом своим. Женские семейные инстинкты не умирали в ней. Мечты ранней девичьей поры об избраннике не оставляли ее в более зрелую пору. На это нам намекают ее

разговоры о женихах, ищущих ее руки. А если это верно и верно с тем вместе мое мнение о ней, то мы можем смело заглянуть в ее внутренний мир, в эту следующую пору ее жизни и отгадать мечты и Чувства, какие она тогда переживала.

Прошлое, ее чем-то жестоко оскорбившее, носилось перед ней, как темное пятно, которое помешает счастью, если бы оно выпало на ее долю. Она умеет любить и может полюбить, она сумела бы наградит!) своего избранника не только нежностями любящего сердца» но и прелестью талантливого женского ума. Но человек, который ей отдаст себя, который соединит свой путь с ее путем, должен будет принести страшную жертву — он должен будет примириться с тем, что ее прошлое омрачено, что сзади его там, где-то ведомый или неведомый ему, живет человек, надругавшийся над его женой, смертельно оскорбивший ее, замаравший ее когда-то непорочное имя. Сумеет ли избранный простить? Как перенесет он часы признания, которыми ей придется отравить первые же дни их счастья? И если он все простит ей, — действительно ли он примирится с пережитым, и оно, вопреки его словам и, может быть, даже клятвам, не будет носиться перед ним, отравляя дни их семейного мира? Может быть, не раз, не два, слушая ее Полные любви и ласки речи, он будет сравнивать

их с теми, что расточала она другому, отдаваясь ему, как жертва, и сложное чувство ревности и оскорбленного самолюбия исказит его черты... Такие думы заставляли ее считать неисполнимым ее право на светлый семейный очаг, унижали ее в ее собственных глазах. Под влиянием этого внутреннего протеста она, что казалось другим кокетством и только кокетством, так охотно окружала себя поклонниками, так часто выслушивала их действительные и мнимые предложения руки и сердца.

Самоуважение заставляло ее верить в то, что она, может быть, честно любила, жажда семейного очага побуждала отвечать на внимание вниманием, а ошибки прошлого обуславливали неуверенность во взаимности, заискивание перед всеми, кто был, видимо, равнодушен к ней. Приходилось, кажется, идти далее. Эти, обещавшие в будущем титул мужа, но встречавшие, точно сговорившись, на пути своем разные препятствия, были мужчинами, были нетерпеливы в своей страсти. Чтобы не терять избранника, не потерять надежды на счастливый исход, она, по ошибкам прошлого изучившая обычную натуру мужчины, сама идет навстречу их желаниям, идет и, как показал опыт, ошибается, запутывается и все ниже и ниже падает в своих собственных глазах.

Это не могло не отозваться на нервах, на

характере Висновской. А к этому прибавьте те изводящие душу условия, среди которых проходит жизнь артистки театрального искусства. Знаю, что меня назовут за это ретроградом, не умеющим прозреть чистого идеала сквозь туманы действительности, но действительность только и может объяснить многое туманное и неразгаданное в личности покойной и в роковой развязке ее встречи с подсудимым.

Как артистка, она не могла относиться с суровой недоступностью к массе поклонников и ухаживателей и незаметно развила в себе качество, так неизбежное при подобном антураже, она переродилась в кокетку, в ту опасную кокетку, обращение которой с ухаживателями могло одновременно кружить головы многим, лишая их самообладания и умения отличать в ее отношениях любезность от взаимности. Темным пятном лежит на ее личности этот бьющий в глаза всем её наблюдательным и серьезным знакомым дефект, но он отчасти вызван отрицательными сторонами сценической профессии. В противоположность поэту, художнику звука, кисти и резца, артист не может ограничиться узким кругом ценителей, стоящих на высоте культуры, не может успокоиться на мнении немногих при полном молчании безучастной и чуждой художнику толпы; артист работает перед зрителем всех ступеней развития, в

театр открыт доступ всем и каждому, и самый характер искусства делает его заманчивым для зрителей любого умственного и нравственного развития. Тогда как поэт и художник работают в тиши, замкнутые в своем рабочем уединении, и отдают себя на суд уже тогда, когда настроение ценителей может повлиять на будущую, а не на совершившуюся уже работу, артист сцены творит свое дело на глазах всех, под шум одобрения или неодобрения и, что всего тяжелее, под шум одобрения, где голоса толпы могучее и звучнее, чем голоса ценителей, где от этого шума толпы зависит материальный успех дела и положение артиста. Поневоле артист иначе относится к зрителю, чем его родичи по духу, поневоле артистка снисходительнее к смелым посетителям театра, видя в них зачинщиков оценки ее таланта, могущих или одобрить или нагнуть» уныние на нее в момент художественной работы.

Но и это еще не все. Художники — не актеры, они могут работать в часы свободного подъема духа. Они могут отойти от стола, полотна и инструмента, если душа их смущена или утомлена житейскими скорбями, не гармонирует с задуманным делом. Они могут передохнуть и приступить снова к труду в любую минуту дня и ночи. Актер — не то: ни в выборе пьесы, ни в часах отдыха и труда он не властен; когда взвился занавес

театральный, он должен быть тем, чем велит быть ему роль, как бы ни были противоположно настроены струны его души... Нет ни отсрочки, ни выбора. Любая природная мощь, любая нервно счастливая организация расшатается. Молодая женщина, как Висновская, игравшая чуть не ежедневно, утомленная и трудом и своим внутренним разладом, не могла выдержать долго; она должна была в годы, когда с ней встретился Бартенев, быть уже разбитой натурой. Такой она и была. То не знающая отдыха работница, то ловкая кокетка, очаровывающая одновременно нескольких, то мечтательница о семейном очаге, то рабыня чужих страстей, то вдохновенная артистка, то стремящаяся сделать из своего искусства блестящую авантюру с целью добиться прочного материального положения... В это время с ней в фойе театра знакомится Бартенев. Знакомство это не могло произвести на нее глубокого впечатления. Бартенев, как вы сами видите, не из тех, которым суждены победы над представительницами прекрасного пола. Маленький, с обыкновенной, некрасивой внешностью, с несмелыми манерами — что он ей? Другое дело она: красивая, блестящая артистка. Его к ней повлечет, ее к нему едва ли.

Он делает ей визит, он повторяет его... То же делают многие. Висновская, как опытный вождь, вербующий армию, записывает его в ряды своей

партии, и только поэтому открывает ему двери своего дома, не чувствуя ни повода, ни побуждений отличать его визиты от других или ждать их с нетерпением молодости и любви.

А он бывает все чаще и чаще... засиживается, робко теряется при ее взгляде, теряет и тот ум, что ему дан. Куртизанка, падшая, женщина, стала бы смеяться над этой любовной сентиментальностью и пошла бы либо навстречу ей, если бы это входило в ее планы, либо прогнала бы вздыхателя, мешающего ей жить, как ей хочется. Но Висновская не куртизанка, не падшая женщина. Она понимает чувство Бартенева, уважает его в нем. Она не может отвечать на него; служительница прекрасного искусства, она не может и в области привязанностей остановиться на чем-либо внешне не эстетическом; но глубина его привязанности и не оскорблявшее ее даже намеком на что-либо грязное чувство молодого человека льстит ей. Она его терпит и на его робкие речи отвечает бессодержательными и привычными фразами кокетства, благо они вошли уже в характер, и довольна тем, что эти фразы утешают гусара, сводят его с ума, греют его, может быть, не привыкшего к таким речам. Она не ошиблась, Бартенов ездил к ней не с целью мимолетного успеха, он предложил ей руку... Этим предложением она была польщена: гордость и

самолюбие ее нашли в нем — рядом с скорбными чувствами, что она не дождалась лучшей, завиднейшей доли — и удовлетворение: ее ценят, ее уважают, считают за счастье соединить ее руку со своей... И потому-то это предложение так облегчило ее тяжелое состояние духа. В это время уже стало замечаться ухудшение ее отношений к печати и к обществу. Ей уже начали приходить в голову мысли о том, что рано или поздно молодость должна неминуемо пройти, а талант, как бы он велик ни был, вместе с молодостью может иссякнуть. В такое время, в тяжелые минуты горьких испытаний, раздражения и сильного физического и нравственного утомления всякое хорошее известие принимается охотнее. Это и понятно. Ведь человек, который видит перед собой смерть, хватается за указанный ему луч надежды, как за прочный якорь спасения. Точно так же Висновская, не чувствуя любви к Бартеневу, приняла его предложение с благодарностью. В этом предложении она видела надежду на спасение. А Бартенева был серьезно намерен жениться. Правда, он не говорил отцу о своем намерении, хотя и обещал Висновской сделать это, но это еще несколько не говорит против него. Отец его строг, и он боялся его. Очень естественно, что, находясь в Варшаве, он находился под влиянием Висновской, но как только он вышел из-под этого влияния, как

только выехал в отпуск к отцу, так тотчас же, по мере удаления от Варшавы, его начал все более и более охватывать страх перед грозным отцом. Ничего нет невероятного в том, что отец Бартенева никогда не дал бы согласия сыну жениться на актрисе. Наверно и среди нас многие пришли бы в смущение, если бы сын кого-либо из нас сказал, что он намерен вступить в брак с актрисой. Известно, что браков с актрисами избегают даже многие страстные любители искусства. Бартенев знал это и понимал прекрасно. Он не забывал при этом, что между ним и Висновской существует племенная и религиозная рознь, которая должна послужить одним из главных препятствий для того, чтобы получить от отца разрешение на брак. Вот почему по приезде к отцу он ничего не говорил ему о своем намерении. Вместе с тем он ей писал, что отец не дает своего согласия на брак. На первый взгляд такой поступок может показаться странным, но в сущности странного в нем нет ничего. Он просто не решился сказать ей правду, потому, что был влюблен в нее до безумия. У него не хватило духу признаться ей в своей уверенности, что отец не дал бы ни за что своего согласия и что просить этого разрешения он не решался: все равно это был бы напрасный труд. Ему казалось, что если он будет откровенен, если скажет всю правду, то она подумает, что он — считает ее не заслуживающей

быть его женой и что самое предложение он делал ей с задней мыслью, — словом, что и он такой же, как и все остальные. Прежде всего он боялся этой неправдой оскорбить ее, боялся, чтобы сна не отшатнулась от него и не удалила его от себя. Возвратившись от отца, он не прекращает своих визитов к ней; он не перестает верить в ее нравственную чистоту, считает ее святой, ставит ни во что слухи, которые втаптывают ее в грязь, и даже обижается на товарищей, если они позволяют себе намеки на ее доступность. Он считает ее совершенно не повинной в тех толках, которые распространяются о ней в обществе, и всю вину сваливает на окружающих ее. Он любит ее и убежден, что всю грязь, которой пачкают ее репутацию, он оставляет окружающим, а ее чистая, незапятнанная натура остается на долю ему. Он приготовил ее к мысли о том, что брак невозможен; но при этом он старался поставить себя так, чтобы она могла смотреть на него не как на любовника, а как на мужа, который не имел возможности дать фактическим отношениям природы освящение религии не потому, что он этого не хочет, но потому, что чужая воля мешает ему. Если он хотел и требовал, чтобы она отдалась ему и принадлежала ему, то исключительно, как человеку, который питает к ней горячую любовь. Да простит меня подсудимый, но я не верю, чтобы он имел успех у

женщин. Нам неизвестно до сих пор, чтобы, у него в жизни был какой-либо роман, а если, может быть, и был, то, вероятно, он мог похвастать успехом только у женщин низшего разряда. Я думаю поэтому, что роман с Висновской был первый серьезный роман в его жизни, где он впервые увидел или, может быть, ему показалось, что им заинтересовалась умная и красивая женщина. Естественно, что он дорожил ее вниманием к нему, ценил его высоко и был этим вниманием горд перед другими. Ему казалось, что их взаимная любовь не только не будет компрометировать ее, но, наоборот, принесет ей даже пользу: из ее передней исчезнут люди, для которых безразлично, отвечает она им взаимностью или нет. Он стремился к тому, чтобы устранить этих людей и освободить ее от них. Все это были лица, привыкшие к одним легким победам и понимающие только быструю капитуляцию. Бартнев был среди них иной человек, он признавал только одно — сдаться. Таково было отношение Бартнева к Висновской. Охваченный отуманившей его страстью, он млел, унижался перед ней; он забыл, что мужчина, встречаясь с женщиной, должен быть верен себе, быть представителем силы, ума и спокойствия, умеряя нетерпение, сдерживая воображение, помогая слабости женщины. А он лишился критики и только рабски шел за ее действительной и кажущейся волей, губя

себя и ее этой порывистостью исполнения. Висновская более, чем кто-либо другой, не годна была к роли руководителя, нуждалась, наоборот, в контролирующей заботе о себе. Ее сценическими эффектами воспитанная фантазия развила в ней привычку переносить в действительную жизнь театральные формы: блеск, бьющий в глаз наряд, трагические позы — она не оставляла и дома. Оттуда же перенесла она в частную жизнь свою любовь к разговорам о смерти. Ведь на сцене это так хорошо выходит, так обаятельно действует на зрителя, так интересна бывает артистка, когда в роли Офелии или Дездемоны, в цветах или вся в белом появляется она перед зрителем, за несколько минут до своей смерти. А затем, утонувшая или убитая, она по окончании пьесы под шум залы, вновь выходит и принимает лавры и рукоплескания. Вот эту-то эффектную, театральную смерть — не страшную, красивую любила Висновская и пугала ею своего обожателя, драпируясь в знакомые фразы. А Бартенев именно этого-то и не понимал. Она была для него идеалом, а каждое слово ее он принимал на веру, принимал серьезно, не обсуждая и проникаясь глубоким уважением. Мало-помалу она приучает его, и он проникается ее идеями; он сам начинает думать и говорить о смерти и запасается ядами и револьвером. Но он делает это не для эффекта, не для рисовки, а серьезно. Он

делается в ее руках полнейшим автоматом; он повинуетя ей слепо. Она велит достать и принести яд — он исполняет. Она требует револьвер — он приносит. Я убежден, что две помеченные свидетелями сцены с револьвером были плодом этого диссонанса в отношениях к орудиям смерти Висновской и Бартенева. Она играла — он жил. Раз он приложил револьвер к своему виску и ждал команды, но Висновская, довольная эффектом, удержала его, иначе он бы покончил с собой. Довольно было одного слова: «Что будет со мной, когда у меня, в квартире одинокой женщины, найдут самоубийцу». Другой раз револьвер был приложен уже к ее виску. Случай этот знает Мишуга. Легко убедиться, что это было не нападение Бартенева на Висновскую. Если бы это было так, то крик неожиданности и испуга привлек бы к ней сидевшего в соседней комнате Мишугу; но мы знаем, что она вышла к последнему с пистолетом в руках, и только некоторая бледность ее говорила о том, что она взволнована. Можно себе представить эту сцену так: в разговоре о смерти, в сотый раз повторяя свою любимую тему, Висновская сказала ему: «Если любишь, убей меня и докажи любовь». Раб ее слов сейчас же поднял на нее револьвер. Эта решимость взволновала ее, но так как она была вызвана ее приказом, а не была неожиданной выходкой, то Висновская и не

кричала и не звала на помощь.

На этом кончим историю их отношений до 26 марта. Перейдем к этому дню, так как, по словам Бартенева, с этого дня их отношения существенно изменились. Так ли это? Есть серьезные данные, свидетельствующие, что мы можем верить Бартеневу и в этом: 26 марта 1890 г. между Бартеневым и Висновской происходит обмен колец. Бартенев говорит, что в этот день она принадлежала ему. Свидетели нам говорят, что с этого дня их отношения стали нежнее и лучше. Свидетельница Штенгель слышала разговор на «ты», и это «ты» имеет важное значение. Уже из одного чувства стыдливости женщина никогда не скажет мужчине «ты» при посторонних. Она начинает говорить так только наедине с ним, но это становится привычкой, и если при посторонних нечаянно прорвется это неосторожное «ты», то оно имеет многозначительное значение. Правда, среди артистов принято говорить друг другу «ты», но ведь Висновская сказала это слово не товарищу по сцене, не артисту, а Бартеневу. Однако есть предположение и противоположного свойства: говорят, что до самого дня убийства Бартенев был чужим Висновской. Поэтому объяснение Бартенева нуждается еще в подкрепляющих данных; оно нуждается в них и потому еще, что установка взгляда на этот момент важна для понимания

момента самого преступления. Висновская, по моему мнению, могла незаметно приучить себя к Бартеневу. Ведь он один относился к ней с уважением, которого не было у других; он так долго страдал; он, по словам его, ей сказанным, не по своей воле не может быть ее мужем: он не на словах, а на деле готов был расстаться с жизнью, если она не будет его подругой. Это дало место состраданию, жалости к нему, а эти чувства часто с успехом заменяют то, которое она не могла воспитать в себе. Различие этих чувств от любви — некоторая снисходительность к предмету сожаления в противоположность уважению, какое внушает тот, кто вселил любовь. А к этому нас и приводит свидетельство Залесского, умевшего со всей тонкостью художника подметить очень важные черты в отношениях Висновской и Бартевева в период с 26 марта по день преступления: раз он заметил, что сказанная ему Висновской дата отъезда ее за границу совпала с датой, сообщенной ему Бартевевым. Это навело его на мысль, что у Бартевева и Висновской — общие интересы, общие планы на жизнь. Другой раз, когда, по случаю какого-то литературного праздника. Залесский предложил и Висновской участие в обеде, она, по его словам, робко и смущенно, как-то нежно и заискивающе спросила его: «А можно со мной быть и моему гусарику»...

что убедило его, Залесского, что он ей не чужой, не посторонний, а уже свой, близкий человек. Приняв за доказанное, что отношения Висновской и Бартенева с 26 марта и позднее стали близкими, я теперь перейду к изучению той наклонной плоскости, по которой несчастные Висновская и Бартенев шли к своей развязке.

Для Бартенева, полагавшего, что с момента близости отношений начнутся для него золотые дни спокойствия, наступили, напротив, дни новых и новых волнений. Чем-то холодным, нерадующим веяло от этой близости. Игра на сцене уносила все силы Висновской; домой она приходила утомленная, недовольная действительным и кажущимся нерасположением прессы, действительными и мнимыми издевательствами над ее романом со стороны закулисного мирка. В такие минуты Висновская, если даже она была близка к Бартеневу, не могла успокоить его теплотой отношений. Вечно задумчивая, вечно смотрящая куда-то мимо интереса момента, она нехотя отвечала на ласки. Подымалась буря сомнения, недоверия» буря тем ужаснее, что она имела объективное основание. Тогда, теряя равновесие, Бартенев искал успокоение в вине и вечеринках с имевшими вход в квартиру Висновской, находя в этом обществе попеременно то пищу для своей ревнивой любознательности, то ласкающие его

темы разговоров. А Висновской, связавшей себя не любя, запутавшейся в противоречиях слов и чувств, теперь настояло придумать средства отделять и смягчать тяжелые минуты случившегося романа. К этому моменту, вероятно, относится ее мысль о приготовлении особой квартиры, которая успокоит Бартенева, а вместе даст повод сократить его тяжелые визиты в ее дом, тяжелые — раз близости отношений, допущенных Висновской, не соответствовало с ее стороны желание их.

Я сказал вам, что Висновская была разбитой натурой. Полагаю, что это аксиома настоящего процесса. У таких натур нет цельности ни в поступках, ни тем более — в проектах и мечтах. Поставляемые цели и предпринимаемые ими средства, помимо неблагоприятных обстоятельств, разбиваются о собственное взаимное противоречие.

Случилось то же и тут. Она сошлась, видя в этом исход одним неудачам, и в то же время недовольна и наличным фактом, поэтому ищет средства против него в уединенной квартире. Но в то же время недовольная и всей суммой этих мер и тяготясь ими вообще, она мечтает о поездке в Америку, как средстве выйти победоносно из настоящего гнета. Но и об этой поездке у ней двоятся мечты: судя по свидетельству Залесского, можно думать, что в часть этого плана был посвящен Бартнев, собиравшийся в заграничный

отпуск и мечтавший о службе при посольстве; но рядом сформировался и другой план — поездкой покончить с Бартеневым и, разорвав с ним, вернуться в Варшаву уже через год, когда уляжется история и отвыкнут от нее прошлогодние поклонники вместе с Бартеневым.

По всей вероятности, Бартенев кое-что узнал про второй план в тот день, в который он прислал ей письмо и вещи, оставленные ею у него на память (портреты, зонтик), вместе с ее записками.

Разрывая с Висновской всерьез или самообольщаясь в решительности своего поступка, оскорбленный тем, что, значит над ним смеялись, когда посылали его приискивать квартиру, отвлекая его доверчивую натуру вымышленным опасением огласки связи в постоянной квартире покойной, Бартенев, писал, что он покончит с собой. Угроза и обстановка ее, выразившаяся в отсылке всего, чем дорожил он, испугали Висновскую. Мысль о том, что человек этот покончит из-за нее, что она увлекла его так далеко и вдохнула в «его такую пагубную страсть, поразила ее. Она в полночь нанимает карету и едет к нему, чтобы не брать на душу чужой жизни. Он жив, он выходит к ней, и она, сажая его в свой экипаж, на этот раз словами, сказанными искренне взволнованным голосом, рассеивает его сомнение и едет с ним посмотреть квартиру, куда она, сегодня усталая, завтра

непрерывно придет, и они заживут украдкой, общей жизнью.

От ревности не оставалось ничего... Завтра, если сегодняшнее общение не окажется обманом, опять вспыхнет сомнение, но до завтра он по-своему счастлив и горд.

Завтра пришло, и наступил условный час. Висновская не обманула его, а, напротив, явилась с явным намерением исполнить его желания и посещать эту квартиру. Она захватила с собой даже принадлежности спального наряда (пенюар). На ласки Бартенева она отвечала лаской. Время проходило среди веселых разговоров и лакомого ужина. Соседи не слышали ни ссоры, ни спора, ни крика о помощи. Ничего не давало повода вспыхнуть приступу ревнивого сомнения; напротив, делалось все, что вырывает это сомнение. Если же, тем не менее, это свидание закончилось убийством, которое, как грозный и неоспоримый факт, стоит перед нами и требует своей оценки, то нужно понять его.

Ревность к Палицыну или из-за Палицына — вот первое предположение. Оно не выдерживает критики. Если бы Висновская интересовалась генералом и предпочитала его Бартеневу, она не запуталась бы в своей истории: рассчитывая на силу и положение его, она не нуждалась бы заискивать и в Бартеневе.

Если бы Бартенев ревновал генерала Палицына и ненавидел его за ухаживание за Висновской, смерть могла грозить генералу, а не Висновской, особенно в минуты, когда она доказывала свое равнодушие к генералу, если он и на самом деле ею интересовался.

Ревнивец может убить отталкивающую его женщину, это правда; но в том-то и дело, что она только что полнее и, по-видимому, безогляднее отдалась ему. Вчера она, чего не делала раньше, приехала к нему в казармы ночью, подписывая, таким образом, приговор о себе, как гласной подруге Бартенева; сегодня она у него в квартире... Все это разгоняло, а не надвигало тучи сомнений у подсудимого.

Отсутствию мотива с его стороны соответствуют и внешние данные: яд и орудия убийства везет тот, кому они нужны для задуманной цели. Но мы не имеем ни одного внятного доказательства, что их принес Бартенев. Наоборот, прислуга Висновской видела, револьвер был завернут в сверток при уходе Висновской из дому; она уже узнала яды, найденные в комнате убийства, как бывшие в руках Висновской. Попытка противопоставить свидетелей противоположного — не серьезна. Если портниха, к которой заезжала Висновская, ехав к месту своей смерти, не видела у нее при входе и выходе из

магазина свертка с револьвером, то не надо забывать, что сверток, не нужный для разговоров с портнихой, мог быть оставлен у извозчика, с которым ехала к Бартеневу покойная. Но зачем ядам и револьверу быть у Висновской и зачем ей везти их в общую квартиру? Конечно, не для убийства Бартенева и не для самоубийства; у нее была иная причина и иной возможный мотив. Вы знаете, что и Висновская, и Бартенев давно играли в смерть, прежде чем один из них нашел настоящую. Смертью они испытывали и пугали друг друга. Но Висновская еще не хотела настоящей, заправской смерти, и, когда поддавшийся ее настроению Бартенев хотел покончить с собой, она оставила его у себя, как бы уничтожая одну из вероятностей его расчета с жизнью. Накануне, когда он вновь заговорил на тему, ею же в нем развитую, она остановила его, обещая утехами жизни успокоить его.

Со своей стороны, отдавшийся ей до самозабвения Бартенев, принимавший ее меланхолическую игру в смерть за твердую решимость, тревожился за нее, особенно когда, подчиняясь ее воле, он сам же достал ей яды. Вот, порешив посетить таинственную квартиру и тем привязать Бартенева к жизни, Висновская представила себе сцену, которая должна выбросить у Бартенева мысль о смерти и обеспечить ее от

принятия на душу греха за чужую жизнь. Она несла ему его револьвер с целью возвратить его и выразить уверенность, что теперь он будет жить, ибо причины, наводящие на самоубийство, устранены. «Но ведь и он будет требовать от меня доказательств, что я нашла в союзе с ним интерес к жизни и изгнала мечты о смерти. Вот я отдам ему мои яды, как доказательство, что наши невзгоды миновали».

Свидание участников драмы шло обычным путем бытовых сцен. Они весело разговаривали, и она позволяла ему ласкать себя. Небогатая внутренними силами натура Бартенева вся ушла в самоуслаждение. Ему казалось, что теперь нет никакого интереса, о котором можно бы было думать и говорить, кроме взаимного обладания. В сотый раз переговаривал он ей избитые любовные темы и не понимал, как может ей приходить на ум что-либо постороннее и чуждое интересам данной минуты. Но не то переживала Висновская. Не нося в сердце ничего к Бартеневу или только снисходительное сожаление, переходившее в привычку к нему, как к своему человеку, нервно разбитая впечатлениями прошлой ночи и излишествами настоящей, увлекаемая образами своей фантазии в массу тяжелых ощущений не настоящими или грядущими, а возможными только в будущем осложнениями своей жизни, Висновская

незаметно дала иное настроение их свиданию.

Если она и порешила было помириться с положением тайной подруги Бартенева и связать с ним свою судьбу, то, думалось, ей, не поведет ли это к новым и новым несчастиям: сегодня он по-своему, счастлив, верит ей и верит в свою решимость рано или поздно дать ей свое имя и положение, но пройдет несколько времени, привыкнет он к своему новому положению, безвольный и слабый, он не найдет сил противоречить отцу и не выйдет из того ложного положения, в которое ее сегодня ставит. А там, успокоившись, он может быть, иными глазами посмотрит на ее прошлые ошибки, иначе отнесется к ним и, как все, упреками и угрозами отравит ее жизнь...

А между тем, что же она делает? Гласно — ведь недолго же на самом деле продержится тайна их связи — разорвав со своими друзьями по сцене и профессии, гласно предпочтя чужого своим, она приобретает массу недругов и недоброжелателей. Сцена уходит от нее.

Уехать? куда? в Америку? Но ведь не так легко добыть славу на чужбине, не имея ни достаточных средств, ни достаточной подготовки, Уехать с ним? Но он будет только обузой для нее, да и не на что ему ехать.

Не все из того, что она переживала, она ему

сказала. На словах, по вечной привычке ласкать словом своего поклонника, она выдвигала другую тему. Она говорила о том, что жизнь ее полна страданий, ибо то, что дается другим легко, ей достается путем страшных, жертв. «Вот я собираюсь далеко. Не думаешь ли, что мне это так и дается? — Нет, мою свободу мне уступают дорогой ценой. Тот, кто меня отпускает, требует, чтобы я две недели прогостила у него в деревне». Зачем она это говорила и искренно ли жаловалась на то, о чем говорила — ее дело. Не хочу догадываться о цели слов, но могу себе представить след, который они оставили в впечатлительном к слову Висновской Бартенева.

И вот оба неудачника, оба изломанные жизнью или ошибками воспитания, они начинают поддаваться влиянию любимой темы своих прошлых свиданий, один другого опьяняя мечтами вслух о могильном покое, о прекращении земных страданий и бесцельности жизни, о мрачном будущем их общей судьбы.

Не забудьте, что все это говорится в чаду винных паров и в утомлении эксцессами чувственных отношений.

Игра в смерть перешла в грозную действительность. Они готовятся к смерти, они пишут записки, кончая расчетом о жизнью. Мое дело доказать, что эти записки не результат насилия

одного над другим, а следствие обоюдного сознания, что с жизнью надо покончить. Но прежде всего не забудем, что в желудке покойной найден опиум и констатированы следы употребления хлороформа.

Можно насильно застрелить, удушить или утопить, но насильно отравить, не вызывая у жертвы крика протеста, попыток борьбы — нельзя. Отрава — убийство тайное: ее дают обманом жертве, если она не хочет добровольной смерти. Вы знаете, что ни призыва на помощь со стороны Висновской, ни следов борьбы за жизнь с ее стороны не констатировано.

Записки, оставленные покойной и восстановленные из лоскутков, найденных в комнате, где произошло убийство, и сравнение их с записками, писанными Бартеневым, доказывают не насилие, а сговор Бартенева и Висновской к обоюдной смерти.

Вопреки мнению экспертов, я думаю, что оставшаяся целой записка писана позднее разорванных, что, следовательно, уничтожение последних — дело рук покойной.

Единственное соображение экспертизы основано на том факте, несомненно верном, что записка целая писана хорошо очинённым карандашом, а уничтоженная — в порядке, указанном в акте осмотра — карандашом,

постепенно исписывавшимся.

Но, имея с собой перочинный нож или ножи для ужина. Бартенев и Висновская могли начать писать исписанным карандашом и починить его, когда он отказался далее служить им.

Моя собственная экспертиза, думается мне, вернее: она основана на изучении текста. За исключением записки к Палицыну о деньгах, прочие записки Висновской писаны к одному и тому же лицу и об одном и том же. Все они начинаются словами «человек этот» или заключают эту фразу в тексте. Во всех прощание с матерью и искусством и отсутствие какого-либо специального содержания, различающего их одну от другой и указывающего на особые цели каждой записки. Это одна и та же записка в неудачных редакциях, уничтоженная ради последней, удовлетворившей пишущую. Ясно, что чего-то добивалась покойная от себя, чем-то была озабочена, не находя долго подходящего выражения для предложенной цели.

Цель эту нам раскрыла одна подробность, здесь обнаруженная на суде. Покойную, говорят нам, не предали земле с последними обрядами церкви. Это глубоко печалит ее неутешную мать. Позволю себе догадку: покойная любила мать и даже в минуты смерти, приготовленной, по недостатку данных, не поддающимся удовлетворительному анализу припадками

обоюдного разочарования жизнью, помнила о ней. Ее записки к Палицыну — посильная забота о материальных нуждах старушки, ее другие записки — попытка обставить свою смерть такими подробностями, чтобы истинная форма ее не обнаружилась и не дала повода заподозрить самоубийство или согласие на расчет с жизнью. Тогда ее похоронят, и ей по смерти и пережившей ее матери не будет тяжело.

Вот, добиваясь удовлетворительной редакции своего последнего слова, редакции, замаскировывающей ее согласие на смерть, рвала Висновская неудачные записки, пока не остановилась на последней.

Что во время писания этих записок над ней не стоял человек, желающий только ее смерти, а рядом с ней сводил счеты своей жизни, это ясно из слов его записок. Подобно ей, он писал к родным и друзьям, подобно ей и он просил о последнем долге христианском, умоляя не видеть в нем самоубийцы и убийцы и высказывая упрек тем, кто не хотел его счастья.

Что над ней стоял не убийца, который уйдет, как только покончит с ней, а подобный ей неудачник, долженствующий тут же рядом с ней умереть, она не сомневалась. Во всех ее записках и помину нет об имени или фамилии Бартенева. Она называет его просто «этот человек», предполагая,

что нет надобности указывать убийцу, ибо он будет тут же, рядом с ней покоиться, не признавая жизни без нее.

Что эти Бартеневские записки — не измышление с целью спасти себя, что разорванные записки Висновской разорваны не им с той же целью — это ясно. Желай Бартенев уничтожить вредные для него записки, то раз у него не хватило духа около трупа когда-то для него интересной женщины заниматься выбором документа, наиболее подходящего к цели самозащиты, неужели не сообразил бы он, что, вместо того, чтобы неудобные записки рвать в клочки и тут же кидать, у него в распоряжении лучшее средство: взять их с собой и бросить, разорвав в клочки, на улице. Ведь Варшава велика, и не станут же подбирать все бумажные клочки, валяющиеся на улицах города.

Говорят, что Бартеневские записки вымышленны, ибо одна из них — к отцу — упрекает последнего в том, в чем он даже и не виноват. Бартенев ведь с отцом о браке не говорил, отказа не получал, а следовательно, и упрекать отца ему не приходилось.

Правда. Но сын не говорил отцу о браке, потому что не мог рассчитывать на его согласие. Вероятно, во всем складе отношении отца к сыну, может быть, в его суровости или неуступчивости лежала причина боязни сына говорить с отцом на

такую тему, и вот в последнем письме сын бросал отцу упрек за тот образ отношений, который делал невозможным со стороны сына даже попытку к просьбе о браке по его личной склонности, а не по одобрению отца.

Отчего же он, покончив с Висновской, сам остался жив? Да, это тяжелое обстоятельство в деле, лишаящее подсудимого того состояния, в каком мы не отказываем памяти несчастных убийц из-за любви, когда они тут же произносят над собой смертный приговор. Обвинение в трусости напрашивается* на язык. Но едва ли это так. Живя среди сверстников, подобно ему избравших своей профессией военное дело, дыша воздухом, в котором нет места боязни смерти, где готовность в необходимые минуты жертвовать своей жизнью — долг, с которым не спорят, Бартенов не мог быть трусом.

Иначе объясняю себе я то, что он остался живым. Бартенов весь ушел в Висновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Вели она, он пожертвует жизнью, лишь бы она своими хорошими и ласкающими глазами смотрела на него в минуту его самопожертвования. Но она велела ему убить ее прежде, чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва этот дорогой для него образ закрылся, едва печать смерти навсегда сомкнула ее глаза, в которые он так любил глядеть

и догадываться о желаниях, их одушевляющих, чтобы поспешить исполнить их, он потерялся: хозяина его души не стало, не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе и на злое, на отчаянный подвиг и на робкое молчание.

Что было потом, мы не знаем того. Сколько продолжался столбняк ужаса, когда он увидел, что он сделал, определить трудно. Но только не заботой о своем спасении был занят несчастный Бартенев. Не ненавистью, а какой-то нежностью звучали его слова, когда он сказал товарищу: «Я убил Маню».

Дальнейшее общеизвестно. Бартенев заявил о своем преступлении без всякой попытки избежать кары. Его показание, прочитанное здесь, дано без всяких советов или убеждения со стороны власти. Его он подтвердил и здесь, на суде. Можно относиться к тому или другому его объяснению, но нельзя уличить его даже в малейшей неправде рассказа. Он — преступник, но он не призвал лжи на помощь к себе. Преступление его велико. О невменении зла в вину он не помышляет. Но было бы жестоко думать о том, как бы тяжелее и суровее применить к нему карающее слово закона. Было бы ошибкой думать, что в суровости задачи карающего правосудия и суровостью судья Приближается к намерениям законодателя. Нет, слово закона напоминает угрозы матери детям. Пока нет вины,

она обещает жесткие меры непокорному сыну, но едва настанет необходимость наказания, любовь материнского сердца ищет всякого повода смягчить необходимую меру казни.

Еще не было примера, чтобы судье дозволялось, не удовлетворяясь указанными карами, просить об увеличении наказания. Но если особые обстоятельства дела возбуждают чувство сожаления к подсудимому, если обстановка преступления указывает на плетеницу зла и несчастья в ошибках, приведших подсудимого к преступлению, то возможно смягчение наказания.

В данных настоящего дела много этих смягчающих мотивов. Многие из них имеют за себя не только фактические, но даже и юридические основания. Если не точная буква закона, то либо цели его, либо мнения сведущих в праве людей, либо опыт чужих законодательств и подмеченная неполнота нашего права говорят о возможности менее сурового приговора. Мой товарищ по защите представит в кратком очерке доводы в этом направлении. Я, как вы слышали, ограничился данными бытовой стороны дела, я говорил о тех пережитых Бартеневым моментах, которые разделяют вину преступления между ним и его жертвой. О, если бы мертвые могли подавать голос по делам, их касающимся, я отдал бы дело Бартенева на суд Висновской. Впрочем,

оставленные ею записки отчасти свидетельствуют об ее взгляде на роковую развязку. «Человек этот, убивая меня, поступает справедливо, он правосудие», — писала она. Я не хочу видеть в этих словах голос правдивой нравственной оценки занимающего нас события: Висновская не доросла до роли учителя морали. Но я хочу убедить вас собственными словами покойной, что она считала себя глубоко виновной перед Бартевым, а это сознание — основание между многими другими к пощаде подсудимого, так как убийцы не исключены из категории лиц, относительно которых допустимо снисхождение.

Вот и все, что я мог сказать за Бартева. Обвинитель согласится со мной, что я был прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует справедливого приговора, — я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия.

* * *

Бартев был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам каторжных работ. Однако по «высочайшему повелению» каторжные работы ему были заменены разжалованием в грядовые.

Дело Грузинского

Настоящее дело было рассмотрено Острогужским окружным судом 29–30 сентября 1883 г. Князь Г. И. Грузинский обвинялся в умышленном убийстве бывшего гувернера своих детей, впоследствии управляющего имением жены Грузинского — Э. Ф. Шмидта.

Предварительным следствием было, установлено следующее.

Э. Ф. Шмидт, приглашенный Грузинским в качестве гувернера, очень быстро сближается с женой последнего. После того как Грузинский потребовал от жены прекратить всякие отношения с гувернером, а его самого уволил, жена заявила о невозможности дальнейшего проживания с Грузинским и потребовала выдела части принадлежащего ей имущества. Поселившись в отведенной ей усадьбе, она пригласила к себе в качестве управляющего Э. Ф. Шмидта. Двое детей Грузинского после раздела некоторое время проживали с матерью в той же усадьбе, где управляющим был Шмидт. Шмидт нередко пользовался этим для мести Грузинскому. Последнему были ограничены возможности для свиданий с детьми, детям о Грузинском рассказывалось много компрометирующего. Будучи

вследствие этого постоянно в напряженном нервном состоянии при встречах с Шмидтом и с детьми, Грузинский во время одной из этих встреч убил Шмидта, выстрелив в него несколько раз из пистолета. Ф. Н. Плевако, защищая подсудимого, очень последовательно доказывает отсутствие в его действиях умысла и необходимость их квалификации как совершенных в состоянии умоисступления.

* * *

Как это обыкновенно делают защитники, я по настоящему делу прочитал бумаги, беседовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповедь души, прислушался к доказательствам и составил себе программу, заметки, о чем, как, что и зачем говорить пред вами. Думалось и догадывалось, о чем будет говорить прокурор, на что будет особенно ударять, где в нашем деле будет место горячему спору, — и свои мысли держал я про запас, чтобы, на его слово был ответ, на его удар — отражение.

Но вот теперь, когда прокурор свое дело сделал, вижу я, что мне мои заметки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержания речи не ожидал.

Много можно было прокурору спорить, что

поступок князя не может быть ему отпущен, что князь задумал, а не вдруг решился на дело, что никакого беспамятства не было, что думать о том, что Шмидт со своей стороны готовит кровавую встречу и под этой думой стреляет в Шмидта, — князю не приходилось. Все это — спорные места, сразу убедиться в них трудно, о них можно потягаться.

Но поднимать вопрос, что князь жены не любил, оскорбления не чувствовал, говорить, что дети тут ни при чем, что дело тут другое, воля ваша, — смело и вряд ли основательно. И уже совсем нехорошо, совсем непонятно объяснять историю со Шмидтом письмами к жене, строгостью князя с крестьянами и его презрением к меньшей братии — к крестьянам и людям, вроде немца Шмидта, потому что он светлейший потомок царственного грузинского дома.

Все это ново, неожиданно, и я, бросив задуманное слово, попытаюсь ответить прокурору так, как меня наталкивает сердце, возбужденное слышанным и боязнью за будущее моего детища — подсудимого.

Я очень рад, что судьбу князя решаете вы, по виду вашему, — пахари и промышленники, что судьбу человека из важного рода отдали в руки

ваши⁴.

Равенство всех пред законом и вера в правосудие людей, не несущих с собой в суд ничего, кроме простоты и чистоты сердца, — сегодня явны в настоящем деле. Сегодня, в стороне от большого света, в уездном городке, где нет крупных интересов, где все бы заняты своим делом, не мечтая о великих делах и бессмертии имени, на скамью обвинением посажен человек, которого упрекают в презрении к вам, упрекают в том, что он из стародавней, некогда властвовавшей над Грузией фамилии... и вам же предают его на суд!

Но мы этого не боимся и, не краснея за свое происхождение, не страшась за вашу власть, лучшего суда, чем Vanf, не желаем, вполне надеясь, что вы нас рассудите в правду и в милость, рассудите по-человечески, себя на его место поставите, а не по фарисейской правде, видящей у ближнего в глазу спицу, у себя не видящей и бревна, на людей возлагающей бремя закона, а себе

⁴ Данным делом было внесено немало волнений в круги так называемого высшего светского общества России, так как на скамье подсудимых оказался один из членов этого общества. В качестве присяжных по делу выступали известные промышленники и крупные помещики («пахари и промышленники» — по выражению Ф. Н. Плевако). (Сост. Ред.).

оставляющей легкие ноши.

В старину приходящего гостя спрашивали про имя, про род, про племя. По имени тебе честь, по роду жалование. Подсудимому не страшно назвать себя, и краснеть за своих предков ему не приходится. Он из рода князей Грузинских, прямой внук последнего грузинского царя Григория, из древней династии Багратидов, занесенной в летописи с IV в. после Рождества Христова. При деде его Грузия слилась воедино с нашим отечеством, его дед принял подданство, и фамилия Грузинских верой и правдой служит своему царю и новому отечеству.

Несчастье привело одного из членов этого дома на суд ваш, я он пришел ждать вашего решения, не прибегая к тем попыткам, какие в ходу у сильных мира, к попыткам избежать суда преждевременными ходатайствами об исключении из общего правила, о беспримерной милости и т. п.

Дело его — страшное, тяжелое. Но вы, более чем какое-либо другое, можете рассудить его разумно и справедливо, по-божески. То, что с ним случилось, беда, которая над ним стряслась, — понятны всем нам; он был богат — его ограбили; он был честен — его обесчестили; он любил и был любим — его разлучили с женой и на склоне лет заставили искать ласки случайной знакомой, какой-то Фени; он был мужем — его ложе

осквернили; он был отцом — у него силой отнимали детей и в глазах их порочили его, чтобы приучить их презирать того, кто дал им жизнь.

Ну, разве то, что чувствовал князь, вам непонятно, адские терзания души его — вам неизвестны.

Нет, я думаю, что вы — простые люди, лучше всех понимаете, что значит отцовская или мужнина честь, и грозно охраняете от врагов свое хозяйство, свой очаг, которым вы отдаете всю жизнь, не оставляя их для суеты мира и для барских затей богатых я знатных.

Посмотрим, как было дело и из-за чего все вышло.

Чтобы решить: дороги ли были князю жена и дети, припомним, как он обзавелся семьей и жил с ней.

20 лет тому назад, молодой человек, встречается он в Москве, на Кузнецком мосту у Трамблэ, кондитера, торговца сладостями, красавицу-продащицу, Ольгу Николаевну Фролову. Пришлась она ему по душе, полюбил он ее. В кондитерской, где товар не то, что хлеб или дрова, без которых не обойдешься, а купить пойдешь хоть на грязный, постоялый двор, — в кондитерской нужна приманка. Вот и стоят там в залитых огнями и золотом палатах красавицы-продащицы; и кому довольно бы фунта

на неделю, глядишь — заходит каждый день полюбоваться, перекинуться словом, полюбезничать.

Конечно, не все девушки там не строги: больше хороших, строгих. Но, уж дело их такое, что на всякое лишнее слово, на лишний взгляд обижаться не приходится: им больно, да хозяину барыш, — ну и терпи!

А если девушка и хороша и не строга, отбоя нет: баричи и сыновья богачей начнут охотиться за добычей. Удача — пошлют до нового лакомого куска; шалют наперебой; но, шая и играя, они смотрят на ту, с кем играют, легко. Они отдают ей излишки своего кошелька, дарят цветы й камни, но, если поддавшаяся им добыча заговорит о семье и браке, они расхохочутся и уйдут. Если добыча становится матерью, им какое дело: заботу о ребенке возьмет на себя воспитательный дом, бабка, есть рвы, куда подкидывают, есть зелья, которые выгоняют из утробы... Им какое дело!

Князь иначе отнесся к делу.

Полюбилась, и ему стало тяжело от мысли, что она будет стоять на торгу, на бойком месте, где всякий, кто захочет, будет пялить на нее глаза, будет говорить малопрстойные речи. Он уводит ее к себе в дом как подругу. Он бы сейчас же и женился- на ней, да у него жива мать, еще более, чем он, близкая к старой своей славе: она и

слышать не хочет о браке сына с приказчицей из магазина. Сын, горячо преданный матери, уступает. Между тем Ольга Николаевна понесла от него, родила сына-первенца. Князь не так отнесся к этому, как те гуляки, о которых я говорил. Для него это был его сын, его кровь. Он позвал лучших друзей: князь Имеретинский крестил его.

Ольга Николаевна забеременела вновь. Ожидая второго, привязавшись всей душой к первому сыну, князь теперь уже сам знал, что значит быть отцом любимого детища от любимой женщины, а не от случайной встречи с легкодоступной продавщицей своих ласк. Отец в нем пересилил сына. Он вступил в брак. Мало того, он бросился с просьбой о милости, просил государя усыновить первенца. Вы слышали про это из той бумаги, которую я подал суду. Само собой разумеется, что на полную любви просьбу последовал ответ, ее достойный.

Что ни год, то по ребенку приносила ему жена. Жили они счастливо. Муж берег добро для семьи, подарил жене 30 000 руб., а потом, чтобы родные не говорили, что жена не имеет ничего своего, Купил имение на общее имя, заплатил за него все, что у него было.

Бывали у них вспышки. Но разве без вспышек проживешь. Может быть, жена его, нет, нет, да и вспомнит привычки бывшей жизни... А мужу

хотелось, чтобы она вела себя с достоинством, приличнее... Вот и ссора.

С честью ли, с уважением ли к себе и к мужу несла свое имя и свое звание жены и матери княгиня Грузинская до встречи со Шмидтом — я не знаю; у нас про это ничего сегодня не говорили. Значит, перейдем прямо к этому случаю.

Дети подрастали. Князь жил в деревне. Надо было учителя. На место приехал Шмидт. Что это доктору, немецкому уроженцу, Шмидту, вздумалось ограничиться учительским местом. — не знаю. Студент, семинарист могли бы заменить его. Не с злой ли думой он прямо и пришел к ним, почуяв возможность обделать дело. В самом деле, за все хватался он: и практиковал, как лекарь, и каменный уголь копал, как горный промышленник. Что ему в учительстве.

Подрастал старший сын — Александр. Князь повез его в Питер, в школу. Там оставался с ним до весны. Весной заболел возвратной горячкой. Три раза возвращалась болезнь. Между двумя приступами он успел вернуться в Москву. Тут вновь заболевает. Доктора отчаиваются за жизнь. Нежно любящему отцу, мужу хочется видеть семью, и вот княгиня, дети и гувернер Шмидт едут. Князь видится, душа его приободрилась и приобрела энергию: болезнь пошла на исход, князь выздоравливал.

Тут-то князю, еще не покидавшему кровати, пришлось испытать страшное горе. Раз он слышит — больные так чутки — в соседней комнате разговор Шмидта и жены: они, по-видимому, перекосятся; но их ссора так странна: точно свои бранятся, а не чужие, то опять речи мирные... неудобные... Князь встает, собирает силы... идет, когда никто его не ожидал, когда думали, что он прикован к кровати... И что же. Милые бранятся — только тешатся: Шмидт и княгиня вместе, нехорошо вместе...

Князь упал в обморок и всю ночь пролежал на полу. Застигнутые разбежались, даже не догадавшись послать помощь больному. Убить врага, уничтожить его князь не мог, он был слаб... Он только принял в открытое сердце несчастье, чтобы никогда с ним не знать разлуки.

С этого дня князь не знал больше жены своей. Жить втроем, знать, что ласки жены делятся с соперником, он не мог. Немедленно усладить жену он тоже был не в силах: она мать детей. Силой удалить от княгини Шмидта было уже поздно: княгиня теперь носила имя, дававшее ей силу, владела половиной состояния и могла отстоять своего друга.

Так и случилось.

Князь отказал Шмидту, а княгиня сделала его управляющим своей половины. В дом к князю при

нем он не ходил, но жил в той же слободе, к которой прилегают земли Грузинских.

А когда князь уезжал, Шмидт не расставался с княгиней от 8 часов утра и до поздней ночи.

В это-то время он внушил княгине те мысли, которые обусловили раздел. Княгиня сумела заставить князя поспешить с разделом, причем все расходы на него были мужнины.

Чуя власть в руках, зная, что князь не прочь помириться с женой, лишь бы она бросила связь со своим управляющим, немцем Шмидтом, последний и княгиня не стеснялись: они гласно виделись в квартире Шмидта, гласно Шмидт позволял себе оскорблять князя; мало этого: княгиня в ожидании, когда кончится постройка приготавливаемого для нее в ее половине имения домика, съехала на квартиру в дом священника, из окон в окна с домом князя, от него саженой за 200, от Шмидта в двух шагах. Тут, на глазах всей дворни, всей слободы, всех соседей, на глазах детей, оставшихся у отца, они своим поведением не щадили ни чести князя, ни его терпения, ни его сердца.

Оттуда они переезжают в Овчарню, в тот домик, который выстроил Шмидт княгине. Там-то и случилось несчастье.

Но прежде чем голубки переберутся в свою Овчарню и заворкуют, вспоминая, как они ловко обманули князя, отняли у него его добро,

надругались над его мягкостью и будут замышлять, как им захватить еще и еще, — посмотрим, как следует отнестись к одному делу, на которое так сильно напирает прокурор: к письмам князя к солдатской дочке — Фене. Уж очень эти письма ему нравятся: он ни за что не хотел, чтобы их не читать, наизусть их повторял в своей речи. Займемся и мы с вами, рассудим: какую они важность имеют в этом деле.

Князь пишет ласково, как к своей. Князь признается, что у него с Феней было дело. Но письма эти писаны в июле и августе 1882 года, а князь разошелся с женой, как с женой, еще в 1881 году, весной, когда узнал об измене. Свидетель, князь Мещерский, был у князя Грузинского за пять месяцев до несчастья, — значит, в мае 1882 года; княгиня тогда жила уже не с князем, а в слободе, рядом со Шмидтом, а при визите, сделанном Мещерским княгине, Шмидт держал себя как хозяин в доме ее; в то же время, по свидетельству старика управляющего, немца же Карлсона, Шмидт, у которого гостил свидетель, ночью, не одетый ходил в спальню к княгине... Значит, во время отношений князя к Фене жена была ему чужой. Правда, она приходила в дом мужа, к детям, забирала вещи, но женой ему не была, потому что жила со Шмидтом. Что же. Как было быть князю. Он мужчина еще не старый, в поре, про которую

сказано: «Не добро быть человеку единому...». Он имел и потребность, и право на женскую ласку. Тот муж и та жена, которые, будучи любимы, изменяют, конечно, грешат пред богом, но муж, брошенный, женой, но жена, покинутая мужем, — они не заслуживают осуждения: на преступную связь их толкают те, кто оставляет семью и ложе.

Письма князя свидетельствуют лишь то, что он не так распутен и развратен, какими бы были многие из нас на его месте. Он не подражает тем, кто свое одиночество развлекает легкими знакомствами на час, сегодня с Машей, завтра с Дашей, а там с Настей или Феней... Он привязывается к женщине, уважает ее.

Мало подумал прокурор, когда упрекнул в кощунстве князя за то, что в день именин своей жены он был в церкви и молился за Феню. Что же тут дурного. Княгиня бросила его и обесчестила дом и семью... Он мог отнестись к ней равнодушно... С Феней он близок, — он, женатый и неразведенный, под напором обычной страсти и ища ласки, губит жизнь доверившейся ему девушки... Это не добродетель, а слабость, порок... и с его и ее стороны. Князь верует в молитву и молится за ту, которая грешит. Ведь и молятся-то не за свои добродетели, а за грехи.

Князь ограничился легкой связью, а не женитьбой. Благодаря гласному нарушению

супружеской верности со стороны княгини, он мог бы развестись. Но жениться — значит привести в дом мачеху к семи детям. Уж коли родная мать оказалась плохой, меньше надежды на чужую. В тайнике души князя, может быть, живет мысль о прощении, когда пройдет страсть жены; может быть, живет вера в возможность возвращения детям их матери, хоть далеко, после, потом... Он невольный грешник, он не вправе для своего личного счастья, для ласки и тепла семейного очага играть судьбой детей. Так он думает и так ломает жизнь свою для тех, кого любит...

Вернемся к делу.

Поселились в Овчарне. Скандал шел на всю губернию. Ведь всего верста с чем-нибудь отделяла усадьбу князя от домика княгини. Живя там, Шмидт и его подруга то и дело напоминали о себе оскорбленному мужу. Князю было странно, неловко чужих и своих. Когда к нему заходили гости, он мучился, мучились и гости: надо было не упоминать о княгине и делать это так, чтобы не выдать преднамеренности молчания. Выйдет князь к прислуге, к рабочим, а в глазах их точно сквозит улыбка, насмешка. Он отмалчивается, ему неловко посвятить их в суть своего горя, а жена и Шмидт этим пользуются: жена приходит без него в дом, не пустить ее не смеют — приказа не было, и хозяйничает, берет вещи, белье, серебро.

Князь боится встретиться с детскими глазами, так вопросительно смотрящими на него.

О, кто не был отцом, тому непонятны эти говорящие глазки!

Они ясны, светлы, чисты, но от них бежишь, когда чувствуешь неправду или стыд. Они чисты, а ты читаешь в них: зачем мама не с тобой, а с ним, с чужим. Зачем она спит не дома, обедает не с нами. Зачем при ней он бранит тебя, а мама не запретит ему. Он, должно быть, больше тебя, сильнее тебя.

От мысли, что дети подрастут, подрастут с ними и вопросы, которые они задают, кровь кидалась в мозг, сердце ныло, рука сжималась. Героическое терпение, смирение праведника нужно было, чтобы удержаться, связать свою волю.

Бывают несчастные истории: полюбит или привяжется человек к чужой жене, жена полюбит чужого человека, борются с своей страстью, но под конец падают. Это — грех, но грех, который переживают многие. За это я бы еще не осмелился обвинять княгиню и Шмидта, обрекать их на жертву князя: это было бы лицемерием слова.

Но раз вы грешны, раз неправы перед мужем, зачем же кичиться этим, зачем на глазах мужа позволять себе оскорбляющие его поступки, зачем, отняв у него, как разбойник на большой дороге, его трудовую и от предков доставшуюся и им для детей убереженную копейку, тратить ее на цветы и венки

своего гнезда. Зачем не уехали они далеко, чтобы не тревожить его каждый день своей встречей. Зачем не посоветовал Шмидт княгине, уходя из дома мужа, бросить все, на что она имела право, пока была женой, а грабительно присвоил себе отнятое, гордо заявляя князю, что это его дом. Зачем, наконец, он встал между отцом и детьми, оскорбляя первого в присутствии их, а их приучая к забвению отца. Не следовало ли бы, раз случился грех, остановиться перед святыней отцовского права на любовь детей, и, с мучением взирая на страшный поступок свой, не разбивать, а укреплять в детском сердце святое чувство любви к отцу и хоть этим платить процент за неоплаченный долг.

Они, Шмидт и княгиня, не делали этого, и ошибка их вела роковым образом к развязке.

В октябре княгине удалось захватить двух дочерей, Лизу и Тамару, и увести к себе; князь и тут человечно отнесся к поступку матери, щадя, может быть, ее естественное желание побыть с детьми.

Но не того добивались там. Сейчас же из этого делают торг: не угодно ли, мол, присылать на содержание их 100 руб. в месяц. Князь отвечает: у тебя состояние, равное моему, а я содержу всех сыновей и дочерей; мне не к чему платить, когда дочери могут быть у меня.

Князь уезжает по делам в Питер. Без него можно взять и третью дочь, но раз князь в

содержании отказал, то о Нине и не думают, а двух дочерей продолжают держать, намереваясь мучить князя, зная его безумную любовь к детям.

Князь возвращается домой и узнает, что княгиня уехала куда-то, но детей оставила у Шмидта. Это взорвало отца: как, он, отец, живет тут, рядом, у него все, что нужно детям, он — они знают — любит и хочет иметь детей у себя; он мог уступить их матери, а теперь мать, уезжая, оставляет их с чужим человеком, с разлучником.

Он шлет за детьми карету. Шмидт ломается, не пускает, но, вероятно, детская воля взяла перевес, — он разрешает повидаться им с отцом. Князь, само собой, оставляет детей, по крайней мере, до возврата матери.

Шмидт, раздосадованный переходом детей, вымещает свою злобу на пустой вещи, на белье; но это-то и стало каплей, переполнившей чашу скорби и терпения. В этой истории сила была не в белье, а в дерзости и злобной хитрости Шмидта.

Вы знаете, что вежливые просьбы и записки князя встретили отказ. Шмидт, пользуясь тем, что детское белье — в доме княгини, где живет он, с ругательством отвергает требование и шлет ответ, что без 300 руб. залогу не даст князю двух рубашек и двух штанишек для детей. Прихлебатель, наемный любовник становится между отцом и детьми и смеет обзывать его человеком, способным

истратить детское белье, заботится о детях и требует с отца 300 руб. залогом. Не только у отца, которому это сказано, — у постороннего, который про это слышит, встают дыбом волосы!

Князь сдерживается; он пытается образумить Шмидта чрез посредника, станового, пишет новые записки и получает ответ — «пусть приедет»!

А Шмидт в это время обращает, как нам показали все свидетели, свое жилище в укрепление: заряжает револьвер, переменяет пистоны на ружье, взводит курки. Один из свидетелей, Цыбулин, по торговым делам заезжает из усадьбы княгини к князю и рассказывает виденное его прислуге.

Получает князь записку Шмидта, вероятно, такого же содержания, каковы были словесные ответы: ругательную, требующую залога или унижения. Вспыхнул князь, хотел ехать к Шмидту на расправу, но смирил себя словами: «не стоит!..»

Утром в воскресенье князь проснулся и пошел будить детей, чтобы ехать с ними к обедне.

Нина, беленькая, чистенькая, протянула к нему руки и приветливо улыбнулась. Потянулись и Тамара с Лизой; но, взглянув на их измятые, грязные рубашонки, князь побледнел, взволновался: они напомнили ему издевательство Шмидта, они дали детским глазкам иное выражение: отчего, папа, Нина опрятна, а мы — нет. Отчего ты не привезешь нам чистого. Разве ты

боишься его.

Сжалось сердце у отца. Отвернулся он от этих говорящих глазок и — чего не сделает отцовская любовь — вышел в сени, сел в приготовленный ему для поездки экипаж и поехал... поехал просить у своего соперника, снося позор и унижение, рубашонку для детей своих.

При князе был пистолет. Но нам здесь доказано, что это было в обычае князя. Сам обвинитель напоминает вам, со слов молодого Карлсона, о привычке князя носить с собой револьвер.

Что ждет князя в усадьбе жены его, в укрепленной позиции Шмидта.

Я утверждаю, что его ждет там засада. Белье, отказ, залог, заряженные орудия большого и малого калибра — все говорит за мою мысль.

Если Шмидт заряжал ружье из трусости и боязни за свою целостность, то вероятнее, что он не стал бы рисковать собой из-за пары детского белья, он бы выдал его. А Шмидт отказал и, зарядив ружье и пистолет, взведя даже курки, с лампой всю ночь поджидал князя.

Если Шмидт не хотел этой встречи, но не хотел также выдавать и белья по личным своим соображениям, то он, не выдавая белья, ограничился бы ссылкой на волю княгини, на свое служебное положение, словом, на законные

основания, а не оскорблял бы князя словами и запиской, возбуждая тем его на объяснение, на встречу.

Если Шмидт охранял только свою персону от князя, а не задумал расправы, он бы рад был, чтобы встреча произошла при народе, а он, едва увидел едущего князя, как выслал Лойку, говорившего с ним о делах, из дому и остался один с лакеем, которому поручил запереть крыльцо, чтобы помешать князю добровольно и открыто войти в комнату и чтобы заставить князя, раз он решится войти, прибегать к стуку, ломанью дверей, насилию.

А раз князь прибегнет к насилию, к нападению на помещение, в него можно будет стрелять, опираясь на закон необходимости. Если и не удастся покончить, а, напротив, бранью и оскорблениями из-за засады довести его до бешенства, до стрельбы, то самый безвредный выстрел может оказать услугу: обвиняя князя в покушении на убийство, можно будет отделаться от него на законном основании.

Все делается по этому плану. Оказалась ошибка в одном: слишком рассчитывал Шмидт на счастье.

Князя видели в довольно сносном состоянии духа, когда он выехал из дому. Конечно, душа его не могла не возмутиться, когда он, завидел гнездо

своих врагов и стал к нему приближаться. Вот оно — место, где, в часы его горя и страдания, они — враги его — смеются и радуются его несчастью. Вот оно- логовище, где в жертву животного сластолюбия пройдохи принесены и честь семьи, и честь его, к все интересы его детей. Вот оно-место, где мало того, что отняли у него настоящее, отняли и прошлое счастье, отравляя его подозрениями...

Не дай бог переживать такие минуты!

В таком настроении он едет, подходит к дому, стучится в дверь.

Его не пускают. Лакей говорят о приказании не принимать.

Князь передает, что ему, кроме белья, ничего не нужно.

Но вместо исполнения его законного требования, вместо, наконец, вежливого отказа, он слышит брань, брань из уст полубовника своей жены, направленную к нему, не делающему с своей стороны никакого оскорбления.

Вы слышали об этой ругают: «Пусть подлец уходит; не смей стучать, это мой дом! Убирайся, я стрелять буду».

Все существо князя возмутилось. Враг стоял близко и так нагло смеялся. О том, что он вооружен, князь мог знать от домашних, слышавших от Цыбулина. А тому, что он способен на все злое — князь не мог не верить: когда наш